

ПОХОРОНЫ И ТОРЖЕСТВА (к скриптополитике и скрипторелигии русской интеллигенции)

В.А. Шкуратов

Южный федеральный университет

Интеллигенция и классики

Какая политика развёртывается в России на похоронах знаменитых либертинов литературы, искусства и на чествованиях их памяти, запоздало устраиваемых общественностью и властью? От похорон Пушкина в 1837г. до похорон Высоцкого в 1980м уход из жизни вольного художника даёт его почитателям возможность продемонстрировать проблески социальной самоорганизации в полицейском государстве. Переживание печальной неизбежности, скорбь по ушедшему – такие общечеловеческие эмоции, что никакая власть не может запретить их без риска утраты некой базисной солидарности с управляемым обществом. Разрыв в тотальном администрировании заполняется снизу. В России возникает альянс биологии и литературы. Он расширяет трещину в покрове государственного единообразия посредством наслаивающихся вокруг печальной неизбежности социальных прецедентов. Похоронно-меморативный ритуал – самостоятельный и весьма важный сюжет русской истории XIX – XX вв. В предлагаемой читателю статье он будет затронут постольку, поскольку даёт автору возможность показать политико-литературный генезис российской интеллигенции.

В том, что похороны и торжества – политика, едва ли можно сомневаться. Внутри большой исторической протяженности она является моментом движения российской литературной цивилизации (если отправляться от культуры) и поддержания идентичности российской нации (если отправляться от субъекта этой культуры). Для гуманитарной науки конца XX – нач. XXI вв., знающей социальность как порождение дискурсивных практик, то и другое – стороны одной медали. Несколько литературных имен, принятых за константу культурной идентичности, служат единству российского народонаселения от Александра I до Путина и Медведева не меньше, чем общая территория, административный надзор, хорошие цены на лес, зерно, пеньку, газ, нефть и т.д.

Цель данной статьи – соотнести сквозные литературные длительности российской цивилизации и моменты их политизации. Длительности обозначены

как «наррадигма», их политико-идеологическая реализация как «скриптополитика» и «скрипторелигия». Закавыченные термины авторские. Чтобы не отвлекать читателя от исторического материала, я помещаю теоретические разъяснения, выходящие за пределы первоначальных, в примечания.

Политико-литературный дискурс напрашивается на сравнение с паутиной. В колышущейся ткани интеллигентских рассуждений при желании можно увидеть также и паутину *au naturel*, структуру изделия натуральных ткачей класса *Arachnoidea*. Действительно, некоторая общность строения просматривается. Радиальные нити, идущие к центру, дают каркас, по которому паук обводит кольцевые слои своей ловчей сети. Паутинное колесо разрастается в окружности, поскольку имеет хорошие крепления. Оно может окутать значительное пространство при надёжно устроенной основе. Размах интеллигентской паутины также зависит от продольных составляющих. Ведущих радиальных нитей в культуре наперечёт, они именные, авторские. Сохраняться в культуре десятилетиями, а то и столетиями удаётся немногим. Кому удаётся – становятся костяком культуры. На них крепятся отростки и продольные перемычки системы. Такие линейные структуры и названы у меня наррадигмами (см. Шкуратов, 1994, 1997, 2001; Шкуратов, Бермант, 1998): пушкинская наррадигма, наррадигма Достоевского, чеховская наррадигма и т.д. Эти ствольные конструкции образованы авторскими нарративами. Последние вместе с биографиями эпонима, воспоминаниями о нём, комментариями к его произведениям и т.д. образуют авторский архив. Хотя архив разрастается вширь, линейный характер наррадигматических образований поддерживается их продолжительностью во времени, циклами их воспроизводства, названными мной наррадигмальными фазами¹.

¹ В моих работах, указанных выше, фигурируют пять фаз наррадигмы: апокриф, канон, гуманизм, гумани-тарность, человекознание. В данном же тексте я расширяю перечень ещё на одну фазу – беллетристики. В модель вводится литература в собственном значении слова, т.е. как сфера производства и потребления художественного вымысла. Беллетристика помещает читателя в мир «как бы», стараясь не нагружать его ни сложными идеями, ни социальными обличениями, ни моральной требовательностью, ни углублённой рефлексией, ни экспериментами с формой, ни чем –либо другим, выходящим за пределы развлечения словом. Литературная выдумка институционализирована как выдумка. В беллетристике не следует искать ничего, кроме вымысла. Эфемерность несуществующего мира с лихвой компенсирована размахом художественно-издательской индустрии, престижем модных произведений и авторов, социальной и психологической функциональностью легкого чтения. Как фаза наррадигмы беллетристика идёт вслед за каноном. Она делает писателя профессиональным лит-работником, а читателя – потребителем досуговой сферы производства. Однако полная институционализация и профессионализация для искусства опасна. Это мешает художнику претендовать на звание учителя, пророка, критика нации. В индустрии развлечений квалифицированный фабрикант вымыслов оказывается рядовым участником команды, выпускающей коллективный развлекательный продукт. В наррадигматической последовательности место профессионала-беллетриста между канонической недоступностью кумира и доверительным общением гуманиста. Беллетристическое отношение – функциональное, коммерческое, специализированное. Оно не сулит ни захватывающих открытий, ни высокого пафоса, ни экзальтации. Оно временное, расписанное, компенсаторное. Писатель инстинктивно стремится выйти из этой позиции за счёт приобретения дополнительных функций, которые приписаны к наррадигматическим фазам до и после беллетристики. В то же время беллетристике поступают предложения от общественной деятельности, политики, религии, науки. Приемы профессиональной беллетристики привлекательны для всех, пользующихся письменным словом. Институты и практики письменной цивилизации нуждаются в персонализации и осюжетивании своих текстов и положений, в их популяризации, в повышении их психологической ответственности, в их «читабельности» и эстетизации,

Указанный подход даёт возможность работать с историческими последовательностями, а не просто с текстуальными массивами, ценностными суждениями и отдельными документами. Впрочем, в предлагаемом читателю анализе я уделю внимание не столько диахроническим наррадигматическими последовательностям, сколько встречам наррадигм, их политико-литературным площадкам, крупным общественно-культурным акциям, которые в России XIX – XX вв. приходится почти исключительно на писательские похороны и годовщины.

Окололитературная публика выступает здесь восприемницей некоторых фаз наррадигмы. Предшественники интеллигенции – кружки читателей и почитателей талантов, компании по изучению всяких «измов». Эти скриптогруппы составят структурные единицы общественно-политического тела скриптокласса интеллигенции. Особенность интеллигенции как разновидности литобщественности в том, что она берёт на себя роль опоры и распространения политизированной словесности, служит ей, разбившись на «партии» по литературно-идейным симпатиям (эти группировки – предшественницы настоящих политических партий). Политизируя и дифференцируя сферу вольной словесности, интеллигенция представляет последнюю как собственный проект национального развития страны, альтернативный тому, который осуществляет её альтер-эго – бюрократия (известное различие понятия интеллигенции как идейно-общественной оппозиции и как профессий умственного труда мной не рассматривается). Интеллигенция предполагает, что она может делать ещё нечто, кроме чтения, производства и распространения слов. Это, по большому историческому счету, заблуждение. Когда интеллигенция переходит к делу, она быстро перестает быть интеллигенцией. В апогее скриптополитики происходит наращивание словесной массы, которое оказывает влияние на состояние общественной системы, и временами очень сильное (см. Шкуратов, 2005). Однако слова, выходящие за пределы слов, оказываются чем-то другим, чем на бумаге. В.И. Ленин, начинавший сугубо интеллигентски – изданием общероссийской газеты, уже мало напоминает российского интеллигента в гуще своих судьбоносных дел.

Я буду придерживаться версии окололитературного *modus vivendi* российской интеллигенции. То, что в историческом движении Пушкина, Достоевского, Толстого есть очередная фиксация их национальной принадлежности и значимости, то для интеллигенции есть место её сборки, производимое в горизонтальном пространстве меж ствольных линий. Я понимаю, что такая геометрия несколько умаляет высокое значение интеллигенции. Однако она даёт шанс согласовать взаимоисключающие тезисы. Первый гласит, что Пушкин, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов – прародители, учителя или воплощения интеллигенции. Этот тезис разрабатывался до революции в «Истории русской интеллигенции» Д.Н. Овсяннико-Куликовского и был доведён до аксиомы в совет-

поскольку доводы идут через олитературенное сознание, с использованием налаженных механизмов воздействия на него. Возникают альянсы между литературой и её соседями. Это распространение литературы вширь (беллетризация) порождает такие гибриды, как скриптополитика, скриптонаука, скрипторелигия.

ские времена. Второй тезис утверждает, что интеллигенция проходит, а Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов остаются. Его отстаивал в «Вехах» П.Б. Струве. Для редактора кадетской «Русской мысли» интеллигенция – это социалистическая и атеистическая оппозиция царскому режиму. «Русская интеллигенция как особая культурная категория есть порождение взаимодействия западного социализма с особыми условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только образованный слой и разные в нём направления» (Струве, 1991, с. 165). Эта оценка дана в запале полемики и в горьких раздумьях над первым массовым опытом реального политического действия интеллигенции в 1905-07 гг. Разделительная линия в образованном слое видится Струве чётко:

«Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистине Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которую живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое различие». Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу» (цит. соч., с. 156). Слово «интеллигенция» имеет здесь очень определённое, но крайне узкое значение: одно из течений идейного спектра. Литература автором «Вех» из интеллигенции вычитается, потому что, к счастью, атеистически-социалистического искусства в основном избежала. Интеллигенция же произросла на журнально-газетной основе: « В 60х годах, с их развитием журналистики и публицистики, «интеллигенция» явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое... Замечательно, что наша национальная литература остаётся областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, но главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения» (цит. соч., с. 156). Впрочем, прикидывать «интеллигент или не интеллигент» временами приходится с некоторым сомнением, на глазок, отказываясь от заданной чёткости. Лев Толстой, хоть и отщепенец, но вне русской интеллигенции, потому что религиозен. Герцен нерелигиозен и вроде бы носит мундир русского интеллигента, а всё-таки не тот человек, не тот духовный тип, что Чернышевский. Со славянофилами ясно, они религиозны и не отщепенцы. Русские либералы считают долгом носить интеллигентский мундир, но не отщепенцы.

Струве хорошо понимал преходящий характер интеллигенции, но он недооценивал длительность исторического момента её существования и разнообразия её форм. То в явном, то в скрытом обличье «умственная прослойка» просуществовала весь XX век, дотянет и до XXI го. Сейчас мы знаем, что и верующая интеллигенция бывает. Веховцы тоже интеллигенты, своими оценками они участвовали в политике газетно-журнальных партий. Историко-культурный цикл интеллигенции прочно совмещён с литературой хотя бы в качестве публицистического арьергарда и мэйнстрима последней. Иначе говоря, скриптополитики, продвигающей своих авторов в игре за утверждение собственной разновидности письма в переходном модернизирующемся обществе. Разновидность эта – весьма специфический поперечный отвод литературы и одновременно – цикл её главных наррадигмальных линий. Указанные положения я по мере сил попытаюсь развернуть диахронично, посредством фаз наррадигмы, и синхронично, в метафоре межнаррадигмального пространства между главными литературными стволами².

Ещё одно замечание касается источников теоретических взглядов автора. В определенной степени они сочетают Т. Куна и М.Фуко. Модель наррадигмы замышлялась как гуманитарная альтернатива теории парадигмы. Куновская идея о том, что школы конкурируют как биологические виды, слишком абстрактна также и по отношению к литературным партиям. Конкуренцию видов придется заменить политикой, смешав последнюю с дискурсивными практиками. Дискурс является самодвижущейся системой, порождающей в себе также и фигуры дискурсивных деятелей, его агентов. В российском случае пара «знание-власть» уступает место паре «власть – литература». Однако новый двучлен нуждается в усложнении. Интеллигенция – потенциальная власть, которая выращается из литературы. Политика литературных партий, переделывающих поле художественного вымысла, совмещается с более имплицитной и одновременно более амбициозной стратегией подачи интеллигенцией себя как национальной силы. Эта политика до времени творится в сфере околотрадиционных проектов национального пути. Она опирается на авторитет знаменитых писателей, которые возводятся в ранг интеллигентских предтеч и вождей. Её кон-

² Положение интеллигенции как своего рода соединительной ткани между стволами-наррадигмами не исключает, разумеется, её собственного нарративного ствола. Он состоит из рассказов об интеллигенции. Отличие интеллигентских нарративов от собственно литературных в том, что первые складываются в действие вокруг литературы и политизируют её. Для писательских же эпонимических наррадигм тема столкновения с властью государства или денег далеко не единственная. Интеллигентский дискурс сооружает вокруг большой литературы политический контекст, но сам большой литературы не создаёт. В этом нетрудно убедиться, сравнив Достоевского, Толстого, Чехова с Боборыкиным, Чернышевским, Савиновым. Ствол интеллигентской наррадигмы соединяет околотрадиционные площадки-контексты в подобие сплошной исторической линии, потому что разрабатывает тексты национальной идентичности в аспекте социальной борьбы за свободу самовыражения. Самовыражение же крупного писателя в заботы с цензурой или с коммерческим распространением его продукции не укладывается. Оно открывает первичные формы существования Я в мире (по крайней мере, в письменно опосредованном мире). Политико-общественный менеджмент его открытий берёт на себя интеллигенция. Хотя сплошь и рядом писатель вынужден сам пристраивать свои «нетленки», а публицист и правозащитник углубляться в экзистенциальные темы, мы не должны смешивать базисное самовыражение посредством слова с инфраструктурой и условиями печатной коммуникации.

цептуальный фундамент и продукт – картина социокосмоса, воспроизводящая трехчастный сословный порядок средневековья в секулярной форме. Себя интеллигенция помещает в качестве светского духовенства между властью и народом (см. Шкуратов, 2005). На указанной идеологической основе, в журнально-газетном формате, интеллигенция продублирует все темы реальной политики, внешней и внутренней, создавая как бы свой теневой кабинет (много теневых кабинетов), готовясь к смене строя, во время которой эта интеллигенция исчезнет. Но исчезнет она много позже событий, о которых идет речь. А речь – о пушкинских торжествах 1880 г. вместе с их кануном и литературно-политическим шлейфом. Похороны, торжества, опять похороны, опять торжества обеспечивают интеллигенцию межнаррадигмальной площадкой, на которой происходит её, интеллигенции, сборка.

Если принять, что 1837г. – траурная веха раскола российского образованного общества и зарождения векового («на век») оппонента просвещению сверху, то 1880г., скорее, имеет смысл преодоления раскола. Пушкинские торжества проводятся по общественной инициативе с разрешения и при полной благожелательности власти. Как и куда идти двум силам российского просвещения? Оппонент власти уже созрел. Он проводит смотр своих рядов, определяет стратегию и тактику. Среди возможных вариантов – конфронтация, подчинение, симбиоз, передел сфер влияния или деполитизация, уход от пресловутых забот политической эмансипации.

В пушкинском празднике на первом месте – Литература, которая приведёт Россию к светлому будущему. Исторический момент таков, что все надежды сконцентрировались на «законном месте свободной литературы, персонифицированной в Пушкине, и на уникальной конвергенции представляющих её сил» (Levitt, 1989, p.3). За четыре десятилетия без Пушкина как будто подтвердилось удивительное свойство русской литературы, замеченное Белинским: «Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от *обыкновенного среднего сословия* отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собой через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе» (Белинский, 1982, с. 36).

Наличие рассеянных по всем сословиям писателей и любителей чтения осталось бы без больших последствий, если бы сама литература не испытала стремления к жизни и практике, не насытилась бы «реальным содержанием» и не дала густых ответвлений в политику и общественную мысль через журналистику. Сословие, созданное такой идеологизированной и политизированной литературой, к 1880г. уже имеет имя: интеллигенция. Оно противопоставляет себя официальному просвещению – власти – и её бюрократической письменности.

Оно пытается обзавестись квазисословной картиной социокомоса из трёх слоёв: власть – светское духовенство – народ. Однако момент таков, что власть и масса олитературенной общественности как никогда склонны к историческому компромиссу. Учтём, что пушкинские торжества происходят в промежуток между неудачными покушениями на императора и фатальной удачей террористов на Зимней канавке 1 марта 1881 г., в месяцы «диктатуры сердца» М.Т. Лориса-Меликова, когда власть обещает обществу конституционные реформы. Поэтому вертикальные отношения, коннотируемые в указанной картине, имеют характер ответа на зондирование общественного мнения сверху. Варианты ответа кодируются с помощью первостепенных литературных фигур. Две из них, Пушкин и Некрасов, составляют контрастирующую пару.

В диахронии мы имеем движение двух парадигм, каждая из которых проходит свою каноническую фазу. На синхронном же срезе интеллигентской скриптополитики два поэта противопоставлены как носители разных установок интеллигенции по отношению к власти и народу. Хождение в народ 1870х гг. для многих его участников было сентиментальным литературным путешествием молодых людей, начитавшихся Н.А. Некрасова. Так, например, считал народник и народоволец Н.А. Морозов: «К концу этого периода своей жизни из разговоров со всеми товарищами я уже окончательно убедился в том, что ни они сами, ни преследующий их абсолютизм совершенно не подозревали, что повальное движение того времени учащейся молодёжи в народ возникло не под влиянием западного социализма, а что главным рычагом его была народническая поэзия Некрасова, которой все зачитывались в переходном юношеском возрасте, дающем наиболее сильные впечатления.

Когда я высказывал это в Женеве товарищам, ходившим в народ, они почти все отвергли это. Многие говорили, что на них подействовала та или другая из тогдашних социалистических книг, тот или другой человек, которого они уважали. Всё это было, конечно, верно с формальной точки зрения, но сами-то указываемые мне источники почему-то всегда рисовали народ именно в некрасовских образах, т.е. в односторонне подобранных, хотя и правдивых типах. Почему эти идеи так легко прививались только тогда, в расцвет некрасовской поэзии? Не потому ли, что душа молодых поколений уже была подготовлена к ним Некрасовым с ранней юности, уже напилась из его первоисточника?

Велико могущество истинной поэзии и романа на общество, оно много больше влияния самых лучших общественных трактатов.

Почитав трактат, большинство даже очень интеллигентных людей через неделю не может рассказать его содержание, а поэтические образы и выражения надолго выгравировываются в памяти каждого. Некрасов же был великий поэт, его образы были могучи» (Морозов, 1962, 1, с.352 – 353).

Видимо, в социализации молодёжи 1870х годов Некрасов играет примерно ту же роль, что Пушкин 1820х, Лермонтов и Гоголь 1830 –40х, Чернышевский

и Тургенев 1860х, Достоевский и Толстой 1880-1900х. Отдавая должное певцу народных горестей, Морозов продолжает: «Ещё в те времена я чувствовал инстинктом его таинственное влияние, чувствовал, что благодаря ему движение должно и далее идти в этом же направлении, но привести в результате не к всеобщему опрощению и торжеству безграмотности, а к борьбе с абсолютизмом, который по самой своей природе должен был противодействовать сближению интеллигенции с широкими слоями населения» (там же).

Похороны Некрасова в декабре 1877 г. вылились в антиправительственный митинг. Сравнение политических тактик на некрасовских похоронах производилось просто, выкриком «Некрасов выше Пушкина!».

Литературные мечтания о народе подошли к концу и упёрлись в голое безлитературное действие. В дни смерти и похорон Некрасова завершался большой судебный процесс над участниками хождения в народ. Судебные приговоры сторонникам ненасильственного, просветительского социализма подогрели радикализм молодёжи и повысили привлекательность терроризма. Чем чревата безлитературщина в России, стало видно очень скоро. Для интеллигенции – для самых решительных из тех, кто не захотел возвратиться в классы, аудитории и присутственные места – уклон в чистую политику без прибавления «скрипто» означал при тогдашних возможностях легальной деятельности – револьвер и бомбу в руках, а для власти – потерю ориентиров и обоснований реформаторства, рутину, текучку, администрирование, чрезвычайщину и эшафоты. Одно предполагало другое. Через месяц после некрасовских похорон В. Засулич стреляет в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Этот резонансный выстрел откроет сезон чудовищной охоты на царя, закончившийся 1 марта 1881 г. Морозов считает террористический всплеск рубежа 1870-80х гг. реакцией на пресечение литературных мечтаний и прогулок молодёжи. «Если б правительство не помешало нам в то лето ходить по деревням со своими книжками и раздавать их безграмотным или полуграмотным прохожим на сигарки, то к осени мы все без исключения возвратились бы в свои учебные заведения. И мы продолжали бы научные занятия в полном убеждении, что новый бог, которого мы создали себе вместо старого, библейского, ещё не в состоянии осуществить наши идеалы и немедленно создать во всей её красоте новую жизнь, в которой люди узнают друг в друге своих сестёр и братьев и каждый будет уже сейчас готов отдать свою жизнь за ближнего» (цит. соч., с. 205). Культ народа-страдальца обрывался в антиправительственную герилью городских партизан-народовольцев. Политическая фигура усопшего поэта неожиданно приобретала красноватый оттенок.

Олитературить зияющий разрыв между интеллигенцией и властью, перебросить через него ещё на 30-40 лет мостик скриптополитики предстояло Пушкину. В пореформенной России только пушкинская лира могла скрепить стратегический компромисс «власть-интеллигенция-народ» в форме литературной фантазореальности, на которую обречены эти отношения при отсутствии пред-

ставительных учреждений. Когда движение к последним было сорвано удачным бомбометанием 1 марта, власть тоже взялась за Пушкина. Всеимперский помпезный юбилей 1899г. – такая же кульминация дореволюционной государственной скриптополитики, как юбилей 1937 г. кульминация послереволюционной сталинской. Торжества же 1880г. – проба пера, предложение компромисса со стороны лояльной интеллигенции.

Пушкинской речи Достоевского предшествует его слово на похоронах Некрасова. Похороны Некрасова, как и пушкинские, были, говоря в терминологии наррадигматической модели, стихийной канонизацией поэта. На погребении Некрасова присутствовало много учащейся молодёжи. Выступая, Достоевский поставил усопшего вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Голос из толпы крикнул, что Некрасов выше. Критик А.М. Скабичевский в «Биржевых ведомостях» превратил этот выкрик в единодушный вердикт толпы.

Достоевский воспользовался декабрьским выпуском «Дневника писателя» за 1877г., чтобы разобрать отношение Некрасова к его предшественникам и набросать положения, которые прозвучат в пушкинской речи. Для начала он исправляет ошибку молодёжи.

Достоевский осаживает непомерные амбиции некрасовской партии, возвести своего литературного патрона в ранг главного русского поэта. Он действует как политик и представитель одной из литературно-журнальных группировок. Достоевский ведь тоже издатель и журналист, и он – на другом по отношению к «Современнику» и «Отечественным запискам» Некрасова фланге публицистического поля. Идеино-политические различия между «левым» Некрасовым и «правым» Достоевским были утрированы «прогрессивной критикой» и советским литературоведением. Однако трудно не заметить стратегической цели тактических маневров бывшего редактора «Гражданина» и автора «Дневника писателя». Она – в удержании просвещенческой коалиции, которая в России состоит из власти и литературы. Некрасовская партия ведёт к расколу альянса и междоусобной борьбе, что для России – катастрофа. Достоевский хорошо понимает переживаемый Россией момент, и он уже художественно исследовал в своих произведениях превращение читательской сентиментальности в нигилизм и насилие. В некрасовских стонах по страданиям народным он улавливает ноты байронической гордости, выращающей Ставрогиных и Верховенских-младших. «Что разберёт народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его: «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока ещё – лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и страстью говоривший о народе и страданиях его той ж интеллигенции. Не говорю в будущем, – в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучшего и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходиться в очень тяжкие минуты к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать своё измученное серд-

це, – ибо любовь к народу у Некрасова была лишь исходом его собственной скорби по себе самом...» (Достоевский, 1895, с.428-429).

Отстаивая приоритет Пушкина, Достоевский опирается на уже устоявшийся культурный статус поэта: «...я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меняю аршином кто выше, кто ниже. Потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нём. Пушкин, по обширности и глубине своего гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентским мировоззрением. Он великий и непонятный ещё предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца» (цит. соч., 1895, с.427).

Но Достоевский понимает, что аргументировать историческим или эстетическим значением Пушкина перед молодёжью бесполезно. Он бьёт в самый узел популизма: Пушкин и по любви к народу превосходит всех писателей. «Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую ещё никто не выказывал до него» (цит. соч., с. 422). Более того, «Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал как надо любить народ, не готовился, не учился: он сам вдруг оказался народом» (с.423).

Но риторика Достоевского – это не только средство политической аргументации. Достоевский замышляет реканонизацию Пушкина. Опираясь на существующий пушкинский канон, он в обычной для себя манере диспутирует с ним и набрасывает контуры нового образа поэта. Крайняя экзальтированность сравнения Пушкина с солнцем предвещает «Пушкин – наше всё!». Пушкин-народ – это уже скорее мифологема, да и Пушкин-солнце – не простая метафора.

Публицистика соскальзывает к чему-то вроде религии художественного перевоплощения. Пушкин-народ, если попытаться рационально истолковать этот образ, есть литературное изображение русского народа в произведениях Пушкина. Однако такая интерпретация слишком скудна применительно к писателю фантастического реализма.

Достоевский производит любовь из художественного творчества, превращая Пушкина в мессию народнической скрипторелигии³. Сопоставление его с

³ Антропоисторикой я назову совокупность рассказов о человеке и приём их конструирования посредством рассказа. Греческие формы на «ка» (автоматика, грамматика, кибернетика, лингвистика, математика, механика, логика, поэтика, физика, этика, эстетика и др.) вообще более «мастеровиты» в сравнении с «логиями», «графиями», т.к. более отчетливо ведут происхождение от умений в некотором кругу явлений. Грамматика – правило написания букв и качество нашей письменной речи, математика – это всё что относится к миру количеств и в то же время – мастерство исчислений, механика – изготовление устройств и знание о них, логика – правила рассуждения и применение их, физика – всё относящееся к природе, но и весьма практическая любознательность, эвристика – закономерность открытий и также сам процесс изобретений. Все эти науки в той же степени техники, чего не скажешь про историю. В звучании же «история» коннотат конструирования, наоборот, приглушён качествами спонтанности, обыденности, исходной неискренности, которые адресуются рассказу. Энергией направленного усилия повествование уступало учёным ремёслам механиков, математиков, логиков, грамматиков и других «техникосов». История – сомнительное технэ, ведь кто только не сочиняет «басни». Сегодня мы согласимся, что историописание, историография, историология, литература – вполне целенаправленные, профессиональные занятия. К ним приложены и сфера реальности, и приемы её конструирования. Но как же пришло этим учёным занятиям отрешиваться от родства с простым рассказом, украшаться дополнительными эпитетами и добавочными корнями, чтобы стать принятыми в «настоящую» науку! Благодаря нарратологии мы

Некрасовым показывает природу литературной канонизации, поскольку и к Некрасову прикидывается нимб «печальника горя народного»; однако испытания на мессию, даже на первоапостола, усопший сверстник Достоевского не выдерживает – в недрах его любви прослеживается гордыня.

За вполне религиозными по духу причислениями к высшему морально-учительному сану мы не должны упускать политический расчёт. Он, как было сказано выше, коренится в стратегии и целях российского просвещения. Пушкинский народ в его историческом расширении – это всё-таки не простолюдин, а читающий народ России, каким он станет, приобщившись к образованию. Руководить просвещением должны власть с интеллигенцией, проникшейся пушкинской «русскостью». Апостериори можно сказать, что Достоевский совершенно прав и что «русскость» Пушкина гораздо более широка и глубока, чем «русскость» Некрасова. Правда, в исторической ретроспективе объяснение выйдет другим, чем у Достоевского. Пушкин превратился в заглавного автора русской литературной цивилизации из-за направленного хода скриптополитики, делавшего ставку именно на него; массовая русскоязычная читательская аудитория второй половины XX – нач. XXI вв. культурно и психологически есть образованная публика XIX в., а не тогдашнее простонародье.

Тургенев или Достоевский?

Пушкинские торжества 6-8 июня 1880 г. в Москве – своего рода писательский съезд России, от которого устроители хотели отстранить крайне правых и крайне левых. Это не вполне удалось. «Реакционер» М.Ф. Катков смог протиснуться к трибуне и произнести охранительную речь о единении власти и страны. А мнение левых выразил Н.К. Михайловский. Он усомнился в актуальности Пушкина и усилении интереса общества к нему (см. Михайловский Н.К., 1880). Но, по большому счёту, мнение Михайловского распространяется не только на Пушкина. Другие писатели ему тоже неинтересны, т.е. интересны лишь в связи с задачами политической эмансипации. Среди целей последней – свобода слова в правовом смысле, т.е. для широкой публики, а не собственно писателя. Речь идёт уже не столько о литературе как художественном вымысле, а о прессе как изложении фактов. Михайловский представляет интеллигенцию, как её определит П.Б. Струве, и скриптополитику журнального подвида. Но это не вся интеллигенция и не вся скриптополитика⁴. Другую платформу предлага-

знаем, что человек создаётся для себя и для другого в историях. Это его занятие одновременно экзистенциально и технично. Почему бы не сказать тут «историка», назвав так всё относящееся к сфере изменчивости, процессуальности, конструируемой приемами рассказа и производными от него? Если конструируется изменчивость коллективных устойчивостей – социоисторика, если индивидуально-человеческих – антропоисторика. Первая часть слова обозначает устойчивый (сохраняемый в изменении) инвариант изменчивости, вторая – процесс изменения в определенной форме записи. Очевидно, что в нашем словогибриде первая часть инерционна, а вторая же передаёт текучесть рассказа и производных от него.

⁴ Скрипторелигию вместе со скриптополитикой, скриптонаукой и другими возможными «скрипто» я помещаю в фазу беллетризации. Как известно, религия есть культ могущественных сил и персон. В скрипторелигии таковыми выступают писатель и его произведения. Скрипторелигия находится в орбите собственно религии.

ет Л.Н. Толстой. Он сам отстранил себя от празднования по идейным соображениям, принципиально отрицая культуру образованных сословий. Толстой приемлет лишь книжки для народа и от народа, хотя на деле будет ещё долго обогащать отрицаемое им искусство своими шедеврами. Его линия в скриптополитике (оставлю за графом пресловуто-чеканное «выразитель интересов патриархального крестьянства») – фольклорно-учительная. Естественно, что Пушкин, за исключением разве что сказок, ему не нужен и неинтересен. Но главные ораторы торжеств – Тургенев и Достоевский. Они представляют в скриптополитике собственно литературу и политику литературы. За ними основная околотолитературная масса российского общества. Для них Пушкин – неоспоримый символический капитал, которым надо распорядиться в момент замешательства власти. Однако позиции двух писателей сильно расходятся.

В литературные чтения на открытие монумента главным номером вписался ораторский турнир между Тургеневым и Достоевским. Тургенев, как и Достоевский, не произносит никаких политических фраз. Тем не менее, вполне подтверждает свой либерализм и своё постепенство. Тургенев далёк от обожения поэта. Пушкин, конечно, первопроходец и зачинатель национальной словесности. «Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?» (Тургенев, 1968, с.71). Оратор сомневается. Он предполагает постепенное вхождение пушкинской поэзии в национальный, а следовательно, и мировой культурный обиход. Так, надо понимать, войдёт в западное сообщество и Россия – с исполнением требований цивилизации и в разумные сроки. Совсем не так мыслит Достоевский. Он видит Россию во главе мира, литературу во главе России, а Пушкина во главе литературы. Но в таком случае, литература – не вполне беллетристика, а Пушкин, подтверждая свои же строки, – больше, чем поэт.

Христианство тоже есть письменный культ. Оно исповедует книжную веру Евангелия и его главного героя Иисуса Христа. Условия, при которых определённые эмоции и приемы религиозного служения переносятся на светскую литературу, были не только в России. Тяжёлые вопросы бытия, никак не желавшие разрешаться, повышенный градус социальных ожиданий и соответственно разочарований, много горя и страданий, непрерывные вопрошания насчёт будущего – такая атмосфера требует веры. Быстро распространяясь вместе с грамотностью и образованием, литература предоставляла свои страницы для эмоций и верований вполне религиозных, но уже покинувших стены традиционных церквей. Скрипторелигии Германии, Франции, отчасти Англии (вспомним Ч. Диккенса) предшествовали религиозному обращению русской светской словесности. На эти внешние предпосылки литературной религии накладывается ход наррадигмального цикла. Персонажи и сюжеты беллетристики – мощный инструментальный воспитания и самовоспитания личности, обустройства её ценностно-моральной сферы, социального познания и т.д., мимо которого общество, разумеется, не может пройти. Чтобы превратиться в наставницу жизни, развлекательной книжке надо обзавестись неким учительным ореолом. Можно спросить: требуется ли такая «облагорожка» самой индустрии дешёвого катарсиса? Дело, разумеется, не в желании, а в том, что для поддержания спроса на развлекательную продукцию весьма помогает какая-нибудь «присадка» к её основной функции: моральная, социально-разоблачительная, патриотическая, научная, религиозная; очень ценится флёр эзотерической мудрости. Звёздам же массовых развлечений для поддержания их популярности предлагается канон скандального кумира, который оказывается в родстве с легендой о своевольном и непонятном гении. Рассказы о трудном пути таланта – процветающий жанр беллетристики. Они готовы к обработке серьёзными аксиологическими составами, в т.ч. религиозного происхождения.

В речи 8 июня 1880 г. Достоевский повторяет тот же прием, что и в прощальных словах над могилой Некрасова. Канонизация поэта идет крещендо и выходит на уровень литературной геополитики. Достоевский без всякой эстетической аргументации ставит Пушкина выше Шекспира, Сервантеса и Шиллера. Его речь (при публикации в «Дневнике писателя», названная очерком) состоит из довольно пространной лекции с разбором нескольких пушкинских произведений и заключительного пророчества о всемирном значении России, сильно возбудившего аудиторию. После пушкинского праздника общественная популярность Достоевского достигнет зенита. На некоторое время он становится российском писателем №1, заменяя в негласном рейтинге Тургенева. Этот «гамбургский счёт», разумеется, условен.

Интересно бы проследить, как баланс весьма эфемерных знаков престижа – аплодисментов, букетов, одобрительных слов и рецензий – соотносится с колебаниями реального политического курса страны (а в том, что он как-то соотносится, есть подозрение). Стрелка барометра государственной политики после 1880 г. склоняется вправо. Конечно, тому имеется явная причина – убийство террористами Александра II и воцарение на престоле и вокруг него консерваторов. Но ведь – поклонников почвенника Достоевского, а не либерала Тургенева. Успех пушкинской речи дал Достоевскому прилив читательского интереса. Выступление на празднике поэта Пушкина стало моментом общественной канонизации писателя Достоевского, причём, с оттенком официального одобрения. Пушкинская платформа интеллигенции в редакции автора «Братьев Карамазов» оказалась ярче, чем в редакции автора «Отцов и детей», и это как-то повлияло на общественно-политическую бифуркацию 1881 г. «Сухим остатком» пушкинского праздника оказалась идея всечеловеческой пушкинской отзывчивости, переплавленная в слова о предназначении России.

Обычно исследователи отмечают эсхатологический темперамент Достоевского, для меня же существенно выявить основные признаки его скриптополитики. Современной (в смысле свободы массового слова) её не назовёшь. В ней отражается законсервированное политико-литературное отношение, которое американский исследователь характеризует с оттенком осуждения: «Объявлять Пушкина гением мирового класса означает в определенной степени санкционировать российский репрессивный политический, экономический, культурный порядок» (Levitt, 1989, p.7). Пушкин как санкция репрессивного порядка – это, конечно, слишком сильно сказано, а вот для обозначения некоторого режима политико-культурных отношений Пушкин подходит. Что же это за режим? Более определено – речь идёт о производстве того, что я назвал фантазореальностью. Указанное производство совершается в контуре взаимоотношений литературы и власти. Достоевский говорит о долге интеллигенции перед народом и неявно намечает линию «интеллигенция-власть».

Политика литературы как воображаемая политика

В пушкинской речи Достоевский и не думает скрывать, что его предсказания о назначении России, возможно, сплошная фантастика. Однако, «если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чём этой фантазии основаться» (Достоевский, 1895, с. 470). Но, надо понимать, такие мечтания есть и некоторая идеология, которую Достоевский предлагает власти. Не делая явных намёков на претензии литературы, писатель предлагает властям предержащим размежевание, которое напоминает размежевание государства и церкви на Московии.

Позволю себе напомнить два крайних литературных образа Государства, между которыми, как между полюсами, в ретроспективе встроилась пушкинская политика Достоевского. Финальное торжество Единого Государства в знаменитой антиутопии Евгения Замятина «Мы» – прижигание «жалкого мозгового узелка в области Варолиева моста», центра фантазии. Напротив, кремлёвский мечтатель в финале трилогии М.Шатрова о Ленине под девизом «большевики должны уметь мечтать» разворачивает такие картины будущего, что посрамляет профессионального фантаста Г.Уэллса. Реальное отношение государства с «самой свободной способностью ума» (Фрейд) разворачивается между двумя этими гиперболами. Оно осуществляется в ряде мер, шагов и стратегий, которую я и назвал скриптополитикой⁵.

В то время как государство собирает «материальное тело» нации – присоединяет территории, ведёт войны, требует повинностей – литература прорабатывает персональную составляющую жизни человека в указанном пространстве. Не отражает – но создаёт особую реальность. Государственный интерес к воображаемому, конечно, не совпадает с заботами литературы. Он идеологичен и прагматичен. Государству небезразличны имидж державы, мораль, правосознание, образование подданных – всё, что относится к общественному порядку, благополучию и развитию общества. Но интерес к т.н. внутреннему миру человека, тем более претензии на его формирование в современном мире, с точки зрения либеральной мысли XIX в., совершенно излишни. Пока государство не отдаст эти прерогативы другим инстанциям, оно не станет современным.

В размежевании административных прерогатив власти и духовных литературы пушкинская речь Достоевского – определенный успех литературы. Он будет продолжен. Вслед за триумфом живого литератора на чествованиях умершего грядёт очередное политико-ритуальное действие интеллигенции возле его

⁵ Я разделяю скриптополитику и политику литературы. Если в работе М. Ливитта (Levitt, 1989) *literary politics* – это обозначение всей российской литературной жизни в её политическом аспекте, то для меня политика литературы – одна из разновидностей скриптополитики. Именно, делающая упор на интересы «большой литературы», на общественные возможности беллетристического воздействия, на условия художественного творчества и формулировании идей посредством художественного вымысла. Профессиональный интерес и мышление профессиональных «собственно писателей», живущих литературным трудом, иные, чем у журналистов или у графа Толстого, занимавшего своеобразную нишу крупного помещика с литературными увлечениями.

гроба. Это произойдёт быстро, через восемь месяцев. Несколько позднее то же постигнет другого пушкинского оратора – И.С. Тургенева. А в 1910 г. возбуждение вокруг похорон Л.Н. Толстого таково, что даёт В.И. Ленину возможность помечтать о новой революции. Лев русской литературы будет до конца жизни отрицать беллетристику. Однако именно он превращает власть художественного слова в России из метафоры в реальность. Между 1880м и 1910м гг. русская литература добивается положения общественного института, равномогущего административной власти. Правда, не в правовом значении свободы слова (здесь прогресс трудный и медленный), а в качестве идейного учителя образованного сословия. Есть у неё и своя Мекка – Ясная Поляна. Можно сказать, что пушкинская политика умеренно-консервативной интеллигенции, которую в 1880 г. представляет Достоевский, успешно осуществляется.

Но не будем спорить, чей курс успешнее – Михайловского, Тургенева, Достоевского или Толстого. Лучше разберёмся, что есть литературная политика *in stricto sensu*.

В России раздел воображаемого затянулся. Границы сфер оказались крайне зыбки, нормы запутанными и по большей части неписанными. Пушкинская линия, если пользоваться юридической терминологией, относится по большей части к прецедентному и обычному праву. Но всё-таки говорить об этом праве можно. Каковы же основные черты российской модели? Во-первых, государственное нормирование преобладает. Оно носит двойной характер – писанный и неписанный. В российской традиции остаётся осязаемый момент патронажа, личных отношений правителя и художника. Отношение это в российских условиях имеет свои минусы и плюсы.

При том, что личное право само по себе есть огромный минус, рудимент патронажных отношений феодализма, в российско-советских условиях оно было некоторым шансом для художника выжить под массивным обезличенным прессом бюрократии и тоталитаризма. Булгаков, Замятин, Пастернак, Ахматова выжили, будучи «чуждыми» и «врагами», благодаря очень странной тёмной протекции «самого». Мандельштам и Бабель погибли, потому что плохо и опрометчиво определили покровителей. Пушкинский урок поучителен как пример именно личного контакта, использования «самого». Потому он эпонимичен. Творческое право – исключительное. Хотя оно – в преддверии гражданских прав и во все эпохи ходатайствует за человеческие свободы, но его нельзя отнести к массовому праву. Оно действует в режиме исключений и привилегий. При отсутствии гражданского права оно удел индивидуальностей. Но отсюда вытекает и универсальный вывод: индивидуальность не может быть массовой. С другой стороны, это урок и для государства. Дар – понятие двустороннее. Творческая полусвобода – это дар общества полной несвободы отдельным представителям, привилегия. Но и гений своей гениальностью преподносит дар человечеству. Отсюда для государства вытекает вывод, что гения не-

льзя вполне использовать. Бенкендорф в записке Николаю обрисовывает контуры государственной политики в отношении Пушкина: он шалопай, но способен. Может быть использован для придания славы государству. Этот аспект является самой сильной картой для гения: он перспективный товар, который возбраняется трепать в сиюминутных целях. Слава, тщеславие империй, память в веках, «фьючерсное использование» – таковы его контуры, которые сам «товар» быстро оценивает и хорошо использует. Гения невозможно употребить «на все сто», он не поддается. Но это неудобство восполняется его перспективностью. Творческая свобода репетирует гражданскую свободу, и предвидит её в условиях, когда последняя невозможна. Это один из первых и самых универсальных опытов отношения власти с индивидуальностью. В этом предопыте гражданской свободы под сенью шести виселиц Пушкин неуклонно требует основных письменных прав: а) права на вымысел; б) права на частное изложение своих мнений; в) права на их распространение. Последние пункты отстоять не удалось. Насчёт первого власть кое-что всё-таки поняла. Именно здесь, гораздо определённое, чем в философских дистинкциях, определяется эстетический предмет тяжбы. Он отчленяется от политических, идеологических, полицейских аспектов и приобретает некоторую независимость, во всяком случае, привилегию, и сливается в качестве важнейшего атрибута с личностью творца. Творец легитимизируется в своём своеволии, и это конечно, не гражданско-правовой режим, а режим привилегий. Гений исключение, поэтому и творческое право исключительное. Эти профеодальные, исключительные антиципации свободы, действующие в режиме личных отношений, способны сильно понизить шансы массовой, журналистской линии, если закрепляются в качестве ведущей государственной политики. Исторически глашатаи большой литературы недопонимают её экзистенциально-персонологическую первичность и отказываются от политического промоутерства «журнальной партии». Гранды русской литературы берутся продвигать открытия литературного самовыражения в общественное действие прямо, и продвигают в качестве особой религии. Их ход достаточно охотно принимается властью, поскольку не требует расширения параллельной инфраструктуры массового слова, а требует продумывания идеи, вживания в фантазореальность. Но это сильно понижает реалистичность власти. Она олитературивается, превращается в идеократию, в утопию у власти, в правление кремлёвских мечтателей. Тандем «власть-литература», подменяющий западное «власть-знание», означает циркулирование «как бы» в обоих направлениях: литература наделяется иллюзией реальности, а власть наделяется иллюзией творчества.

Основа этой двойной фантазореальности может быть сильно расширена. Отсюда государственный литературоцентризм, начавшийся в России до революции, по крайней мере, с пушкинского юбилея 1899г. и ставший государственной политикой в СССР.

Несмотря на ломки экономического и социального устройства России, все её режимы – авторитарно-монархический, тоталитарный, авторитарно-демократический – *mutatis mutandis* проводили политику культурной преемственности. Сохранялась преемственность просветительски-преобразовательной функции государства и его литературоцентрических методов, так же как и преемственность просветительски-преобразовательной по отношению к «массе», посреднически-адаптивной и селективной по отношению к «прогрессивному» и «передовому» опыту Запада функций государства, а также особая роль литературно-словесной культуры, используемой для этого. И сохранялся своего рода пакт между творческой личностью письменной культуры и пользующимся его услугами государством. В отношениях Сталина и Булгакова, Сталина и Пастернака, Хрущёва и Солженицына в известной степени прочитывается та линия отношений, которая предлагалась, как наилучшее выражение русского гения и вклад России в мировую цивилизацию. То, что эта линия оказалась преобладающей в 1880г. – тому подтверждение триумф Достоевского. Но её успех в России был гораздо более долгосрочным. Выступающая под флагом гражданских свобод публицистическая литература прямого слова постоянно должна сжиматься в пользу слова литературного, завуалировано-украшенного. Можно давать разные оценки их балансу. Однако нельзя не услышать за этим консервативное суждение цивилизации о том, что культурная идентичность этноса для неё важнее, чем беспрепятственное политическое самовыражение народонаселения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. М., Художественная литература, 1982, т.8.
2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. СПб., Изд. А.Ф.Маркса, 1895. Т. XI.
3. Михайловский Н.К. (Н.М.) Литературные заметки //Отечественные записки, 1880, №7.
4. Морозов Н.А. Повести моей жизни. М., Изд. АН СССР, 1962, т.1.
5. Струве П.Б. Интеллигенция и революция//Вехи. Из глубины. М., «Правда», 1991
6. Тургенев И.С. Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве // Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Т. XV, М., «Наука», 1968.
7. Федотов Г.П. Певец империи и свободы//Судьба и грехи России. Т.2. Санкт-Петербург, «София», 1992.
8. Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 1ое, Ростов-на-Дону, 1994; Изд. 2ое, расширенное, М., 1997.

9. Шкуратов В.А. Пушкинская наррадигма: шаги письменной легитимации//Сотворение истории. Человек. Память. Текст. Казань, 2001.
10. Шкуратов В.А. Интеллигенция в проекте современности//Логос, 2005, 6.
11. Шкуратов В.А., Бермант О.В. Советская массовая культура как случай письменной цивилизации// От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: новая парадигма цивилизации. М., 1998.
12. Levitt M. Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880. Cornell University Press, Ithaca, 1989.